Олег Вулф

Бессарабские марки

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА СТОРОНЫ СВЕТА
LIBRARY OF CARDINAL POINTS JOURNAL

ОЛЕГ ВУЛФ
БЕССАРАБСКИЕ МАРКИ

ХУДОЖНИК
СЕРГЕЙ САМСОНОВ

STOSVET PUBLISHERS
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА ‘СТОРОНЫ СВЕТА‘
НЬЮ-ЙОРК
2010

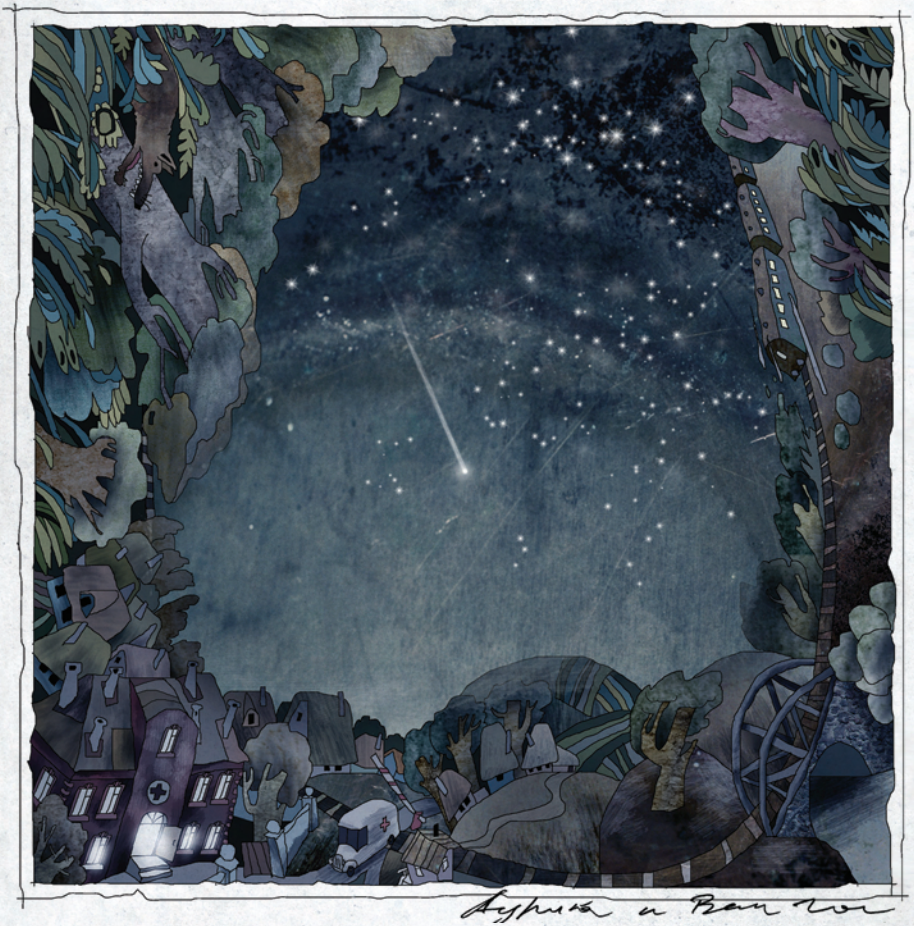
ИРИНЕ МАШИНСКОЙ

Однажды из Григориополя пришёл товарняк без головного вагона, но этого никто не заметил. Даже не заметили, что никто не заметил. Люди иногда часто не обращают внимания на то, чего не замечают позже. Никто, в сущности, не знает, где этот головной вагон, пришёл ли из Григориополя, прибудет ли, есть ли там железнодорожная ветка.

Шёл такой дождь, когда увещеваниями не поможешь, и ничего не поделать с водою силой. Привет тебе, сказал Феодасий, глядя из-под дождевика в направлении Григоруцэ странным своим одновременным взглядом. Глаза у него были разного синего цвета, оба глядели в сторону, противоположную той, куда был свёрнут нос. Неким образом, это физическое несоответствие принималось без внутреннего сопротивления, как если бы за ним пропадала естественная невыносимость, свойственная сандулянцам. Григоруцэ кивнул. В графе «профессия» у Феодасия проставлено было «сельский ясновидящий», как будто ясновидящие бывают городскими. Анкета с графою хранилась в тумбочке господина сельского старосты Никэ Подоляну, известного бытовым краснобайством.

Всякий раз, возвращаясь к мыслям об этом дожде, Григоруцэ испытывал глубокое ощущение покоя, высвобождения из некоего укоренившегося в нём присутствия трагедии, тесной завязи одиночества в безвестность и смерть. Как будто товарный состав, прибывший на конешную станцию, где всё разумеется само собой, невозможно ввернуть словцо, не с кем перекинуться словом, надёжно записан на задней, закопчённой стенке памяти с развешанными на ней мятыми, алюминиевыми, песком чищеными котелками, старыми рукавицами, фотопортретами хмурых подростков детски-спортивного сложения, жестяными кружками с развальцованными краями, и теперь составляет со всем этим внутренне непротиворечивое описание уникальности, подобное тому, что пел пожилой цыган, уехавший отсюда перед самой войной в Париж и преданный знакомой консьержкой оккупационным властям, ибо удар в спину, чтобы не толпиться, наносит тот, кто ближе.

Разговор мужчины с женщиной – заговор полуночных богатеев. День начинается с того, как мужчина протягивает



руку мужчине, женщина – женщине. Поэтому Григоруцэ сначала молча кивнул, как бы смиряясь с необходимостью дождя, продолжительностью жизненных хлопот, а потом сказал: «Привет, Феодасий. Ты жив ещё, старая калоша?»

За дождевым шумом он не расслышал ответа. Появился и быстро прошёл подросток Михай, вглядываясь во тьму. В это время года у подростков своя несвобода, а ночи долги и малосонны. Чаша возможностей столь полно выскрёбывалась предыдущими поколениями, что здесь начинали жить с чистого листа, едва успев записать на нём: ничего плохого в том, что не является прямым злом. Понимали: у курицы, съеденной в обед, не имелось имени собственного, султан Абдульхамид II, да продлится слава его, был мюридом шазилийского шейха, и что бы ты ни делал, рано или поздно проявляется в остатке неправоты.

Поезд вздохнул и тронулся.

Тем же часом в своём кабинете доктор Петрикэ Мунтяну устремился по стремянке, достал с полки одну из подаренных ему, нечитанных книг и раскрыл на титульной странице. «Дорогой друг», выведено было там фиолетовыми чернилами, «я подарил тебе эту книгу в тайной надежде на то, что ты ее никогда не прочтешь. Прости мне этот непрошеный дар, тайную мысль и барственную надпись. Книга – худший подарок. Особенно та, что написана в жанре литературного произведения. Есть художники, не умеющие рисовать животных, которых они не любят. И эти животные получаются у них в карикатурном изображении. Литература – рисунок в его экономности, готовится на муравьином жире рисунка. Три-четыре линии – весь мир. Пусть же твой читательский мир будет столь же экономен, как мой писательский. Рад, что этой дарственной надписью ты с благодарностью ограничился. Твой Ион Григоряну».

Мунтяну вернул книгу на полку и постоял немного на стремянке, с ненавистью глядя на корешок.

Эй, Петрикэ, пришла беда – отворяй, борода, вскричал тут Григоруцэ с улицы, на что Феодасий поморщился в сторону. У древней, выстроенной ещё в турецкую, больницы, где они стояли, было так темно, что дождь разом прекратился,

и сразу же туго сгрудились звёзды, от которых над Сандулянами стреляло, хрустело и трещало, как в бочке с забродившими огурцами. Ну, откликнулся Мунтяну в окно меховым басом, ты хоть запиши мой телефон наизусть.

Цыганка умирает, сказал Григоруцэ.

Трое толпились в круглом свете под лампочкой, болтавшейся, как желток в стакане. Везите меня на Памир, говорила им цыганка, указывая перстом в восточную стену, с которой при этом сыпалась извёстка. На Памире смерть – глиняная смерть.

О цыганке знали, что звать её Аста, и что половые тряпки добела выстирывала на просушку. В дом её, отстроенный прадедом на стороне, не приходили, а саму избегали по необходимости, ибо было ей хорошо за сто, и оставалась она человеком такой открытости, доброты и силы, которые вынести невозможно.

Пришла соседская Аурика, поздоровалась и встала лицом к окну, спиной чувствуя смерть, изо всех сил глядя на звёзды, каждая из которых раскручивала воронку. Эти звёзды написал художник Ван Гог, но Аурика о том не знала, хотя друг его, Гогени, приезжал как-то из Грузии, где жил с родителями и котом по имени Шмыг.

Потом Аурика заплакала, ей никто не мешал, и плакала так долго, что мало-помалу наступило утро, а утром Аста умерла, и в Сандулянах больше не осталось цыган.

ВЕСНОЙ МЫ УВИДИМ СОСНОВА

На Николу в Сандулянах выпал такой снег, что люди молча бросали дела, выходили на улицы и смотрели. А уже через месяц длинная мокрая простыня болталась за поездом, в котором учитель физики Ион Санду мало-помалу возвращался из Казани, и это была весна. На подъезде к Дондюшанам учитель, уверившись в том, что больше уже ничего не случится, проснулся на своей второй полке с изумлением человека, в котором зазвонила теория относительности. Окно было забрызгано мокрым снегом, вагон стоял у привокзальной площади, и Санду увидел местный памятник, небольшую мраморную глыбу, обтёсанную человеком, который получил за это деньги и пропил их так давно, что с тех пор прошёл добрый упадок лет, что-то вроде средней вековости времена.

Полгода назад Иляна принесла Иону Санду первенца по фамилии Соснов, и первенец родился таким старым, что знающие люди, качая головами, убеждали её: ничего, с возрастом впадёт в детство, и тогда она жарила им картошку и рыбных карасей в сметане, а соседская Жеманя, чья брань, как змеиный укус, была тем верней, чем ближе к сердцу, говорила такие глупости, что в доказательство у неё портилось настроение, она пересчитывала своих мужей в уверенности, что чем пышней свадьба, тем беднее похороны и молча плакала прямо в открытую душу. Тогда Иляна утешала её как могла. Машенька, можно ведь не понимать многих вещей, но нельзя быть дурой, утешала её Иляна, будучи другого женского пола, глядя в ненарочное её лицо.

Тогда-то и выпал этот снег на Николу, и привычные к себе деревья стояли с чувством надёжно сбывшегося, и большой снег летел сквозь них, как поезд, на котором Санду вернётся когда-нибудь из Казани. Весной мы увидим Соснова, думала Иляна в сторону, куда исчез Ион, и тихая благодарность ложилась в сердце, самостоятельная, почти не сознающая себя благодарность к первому встречному, пока он переключается на ближний свет в тумане и дожде, в последнюю четверть жизни, в безвестных предгорьях, в начале длинной зимы.

Женщина всю жизнь испытывает чьё-то мужество, доводит его до логического конца, и Санду спрыгнул с самой вы-

RESTAURANT
CAFÉ

сокой вагонной подножки, сразу увидев их – Иляну, маленького старого Соснова в огуречного цвета пиджаке и совсем маленькую собаку Савку, по обыкновению сгрудившуюся вокруг собственной переносицы. В одной руке Соснов крепко держал свою мать, в другой – клетчатый холщовый чемоданчик и раздумчиво оглядывал отца, как если бы примерял его на себя и на весь окрестный мир. Здравствуй, отец, сказал бы, наверное, Соснов, если бы умел говорить. Ты забыл вот это.

Сними Соснов этот год на память, плёнка там обязательно оборвалась бы, всё ослепительно замелькало, белоглазые кадры принялись бы топтаться вкривь и вкось, где только что действовали живые лица и расцветала сирень, на одном из них возникло и тут же пропало бы черное слово «конец», и тогда вспыхнул бы ослепительный свет в зале, холодном и жадном, как весна зареченских районов, и незнакомые сутулые люди принялись бы свистеть в два пальца, настаивать на своём, неуместно гневаться и кричать банными голосами.

Поэтому никто не снимал их тогда ни сверху, ни даже сбоку, откуда мы почти всегда выглядим живей. По сути дела, всего этого настолько не было, что никто и не узнает толком, было оно, или не было вовсе. Единственный довод в пользу происходящего – мы сами, а значит, нет ничего невозможного.

Когда живёшь с человеком одной крови, он тебе изменяет во всём, сказал Санду Иляне тогда, когда только и стоит говорить о таких вещах. Он – это ты и есть, разве только иной походки.

Потом они отправились в кино на вечерний сеанс и шли, обнявшись, одной походкой и досмотрели фильм до конца, и у них были такие заветные лица, что на экране почти ничего не было видно, и ни одна плёнка не оборвалась, и на следующий день они забыли фамилию режиссёра.

Ты мне всегда звони. Хорошо, я позвоню тебе всегда. Мы всегда с тобой встретимся в другой раз. Сегодня мы встретимся с другим, с Ионеско, его почти не видно. Он работает по специальности, Ионеско, сельский фельдшер. С тех пор, как он растолстел, он немножко похудел, и, возможно, скажет нам при встрече, что главным симптомом болезни является смерть, всё равно, работаешь ли по специальности. Отношение к смерти у него обычное, общепринятое, в нём нет ничего неожиданного, никакого отношения к бессмертию или смерти у него нет. Многие жалеют Ионеско, считая, что ему пришлось зарабатывать на стороне. Мир ему открыт, как слепой. Именно так сказал Аурике об Ионеско грузинский философ Гогени: безотчётно открыт, как слепой. Поэтому Ионеско пройдёт, трижды поздоровавшись, ведь что бы ты ни сделал, ни подумал, тебя ожидает завтрашнее утро, вот оно сидит на северном вокзале, зевает-зевает, рот разевает. А утром, если повезёт, мы повстречаем и самого Гогени. Прошлым летом философ был примерно того же роста, лыс, и так же шёл он от вокзала, и так же воскликнул: эка, вот и вы! Какая счастливая случайность, как здорово, что мы с вами встретились этим солнечным воскресным утром! Если вспомните об этом, не забудьте про утро. А лучше ничего не вспоминайте про утро, пусть всё останется как есть. Надо бы вам вообще забыть о нашей встрече. Лучше бы нам, по правде, и не встречаться никогда.

Вот и Аурика, вот она идёт, погружённая в походку, обмётанную цыганской юбкой, и никто не будет носить юбку, как Аурика Брандулеску, не подойдёт к нам, не скажет: не грустите, похитрите со мной, лёгкая голытьба. Вчера шли вы за хлебом, спичками, керосином, табаком и вином, а теперь – походкой вынашивающих планы. Вот вам лечебная мазь, наносите её на мокнущие раны и ожоговые поверхности, пока не заживут сами, вот соль и спички, идите и положите в задний карман.

И мы положим их в задний карман, и будем идти, пока пейзаж не изменится до неузнаваемости, и на углу, под каменной сливой, в тесной полумгле увидим Феодасия, внимательно, всем своим белым лицом читающего и перечитывающего

старую книгу о роли птиц в одесском морском пароходстве.

Так начнётся наш день, и что это за день, мы скоро поймём, хотя, возможно, никогда не узнаем, сколько их там ещё, и почему от этого неведения так свободно дышится по утрам, что его приберегают на утро, или откладывают за ухо, как последнюю сигарету.

Это не птицы, заключишь ты, какая у них роль в пароходстве. Скорее, это мысли, планы, идеи, сны, позабытые, не воплощённые людьми. Возможно, это и так, скажу я. Но, всё-таки, мне кажется, есть вещи, о которых мы никогда не договоримся, ибо нас двое. Ты будешь считать, одно, а я – другое. И – наоборот. А вместе мы будем знать только самое главное, о чём и знать-то почти нечего, как бывает с тем, что известно с раннего детства. Например, что существует нечто, очень похожее на небытие, но при этом уйти некуда, нет такой заслонки, за которой можно было навсегда пропасть, а даже если и была бы, то что бы ни случилось с нами за ней, всё равно было бы сейчастьем.

Так что, ты мне всегда звони, хоть через двадцать лет. Пусть тогда шепчут бывшие чемпионки своих бывших тренеров, переводят в золу этого шёпота. Одиночество, смерть, смерть и одиночество, нет у них ещё порядкового номера, скажут лучницы ватерполисткам. Не могли ещё чуть-чуть подождать, всё кончилось бы само собой. Вы и сами, добавят они друг другу, вы и сами всё понимаете. Зачем, обронив, прятать в рукаве подобранную с тротуара сотню, не потому ли, что взяли тот банк в Фалештах на неделе, и всякая мысль у них теперь – об этом их деле, и где бы ни находились, им остаются общие темы, тайные сведения. Что им с того, что кино есть важнейшее для нас киноискусство, разве снимут их в кино. Ни гордости национальной, ни славы, и все равно им, что надеть, главное, чтобы не так бросалось в глаза. Придётся, скажут они, ответить по всей строгости закона. У государства не так много возможностей занять население. Не так много. Тюрьма, армейская служба, строительство дорог и национальность. Сейчас они, допустим, – конспираторы. Никто не может им этого запретить. Но это – пока. Пусть валят на ранний снег, птиц, поляков, социальных инспекторов, осен-

них таксистов, на то, как мир голословен. Зевают-зевают, рот разевают. А там посмотрим, скажут они, сворачивая за угол, накручивая педали.

Слушай, скажешь ты про тот бак за гаражом, куда мы только что сбросили пакеты с мусором: давай вымоем руки после свалки. И пройдёшь в ванную комнату, где висит старое, расслоившееся, истончившееся полотенце, даже днём от него исходит еле заметный свет, и бережно, долго будешь вытирать руки, и на них останутся тканевые крошки. Я хочу преподавать поэзию и конспирацию. Не ходи туда, отвечу я. Там у тебя может возникнуть ложное ощущение собственной значительности. Да, ты прав, Мирча, я знаю этот клуб и всё время забываю об этом его качестве. Туда ходят социальные инспекторы, осенние таксисты и финансовые воротилы.

Вечером ты оставляешь занавески приоткрытыми, чтобы, проснувшись, можно было немного полежать, спокойно глядя на утреннюю листву и осеннее небо. Чтоб было ясно, прохладно и тихо, и стоило бы подняться ветерку, по лесу с дождевым шумом облетали листья. Мы наденем свои плащи, выйдем в них во двор, и пройдём, не пускаясь в разговоры, дальше и дальше, пока на углу, под каменной сливой не увидим Феодасия с его книгой, и маленький самолёт будет лететь над нами, с жизнью пилота в нагрузку.

ВАЛЯ И КАНТОНИСТ

Кантонист ушел отбывать воинскую повинность из грустного, осыпанного солнечной перхотью райцентра. Надо отдать матери должное, в сердцах вскричала она тогда: в армию, Кантонист! Пусть тебя сделают тромбоном!

Ясно, человек живёт в качестве второго тромбона, старшего инженера, солдата, красивой женщины, машиностроителя, заместителя директора, воскресного кинозрителя. На приезжего лектора, ради ужасного слова «органолептический», употреблённого в отношении столь нужной вещи, как дегустация вин, люди в зал не потянутся. Лектор (горестная фамилия, Хвыля) будет бит молодёжью в ресторане таким образом, чтобы на лице не осталось следов. Приватносочувственный подполковник Злобин живо заинтересуется постфактум, подали жаркое, или нет. Не успели, ответит ему лектор с мучительным, неуместным вызовом. Объективно выражаясь, неизвестно, что хуже для пищеваренья, философски заметит тогда подполковник, такой старый, что покажется лектору совершенно пьяным.

Будучи взыскательным почитателем Иммануила Канта, под мудрым маминым руководством сближаясь с девушкой своей мечты, Кантонист сдал, наконец, все свои права на себя до специального разрешения. Люди из иерархии военных карьеристов, в большинстве лишенные чувства юмора, а следовательно – и чувства меры, отнеслись к нему, поэтому, с нескрываемым снисхождением. Тайно избиваемый ими по ночам, днями он неуклюже маршировал по плацу, бетонную карту которого запомнит навсегда. Раз, два, пребываешь ты опростившимся, малым, фальшивым тромбоном в иерархиях неопровержимой, безжалостной лжи, о которой сказано: государство – заговор богачей во имя личной выгоды.[1]

Воскресные письма, живописуя о вещах третьестепенных, гарнизонно-скучных, наполняли материнское сердце смутными подозрениями. Переписка сваливалась в безымянную кастрюлю, впоследствии снесённую на задний двор, стоило матери понять, с каким удовольствием этот почтовый ритуал перлюстрировался в убогой канцелярии части.

---

[1] Сказано Томасом Мором

КАНТ

О бедолагах, тянущих лямку по соседству, Кантонист знал, что армейская дружба – по несчастью, и пропадает с первыми лучами солнца. Лишь любовь по несчастью, а не дружба, имеет право на жизнь. Собственно, это и есть жизнь, думал Кантонист. Мучительно становился он тромбоном, постигая бесцельность и бессмысленность зла. Бесконечное страдание зла, размышлял Кантонист, в преходящести слабых и смертных существ, тщеславно и без унизительности переживающих ненасытность своего несовершенства.

Отсутствие в нем ненависти, страха и унижения компенсировалось острым чувством абсурда. Многие годы спустя, не взирая на выдающуюся докторскую по Канту, это чувство заявляло о себе с неопровержимостью армейской татуировки. Пребывая на теле в виде Георгия Победоносца, поражающего маленького, явно страдающего дракона, татуировка оставалась единственным доводом в пользу того, что Кантонист, безвестно скрипевший снежком в карауле у станционных складов, таращась в зведное небо тридцатилетней давности, и рядовой Цуркис, которому вдруг подумалось о семидесяти миллиардах мыслящих существ, успевших умереть, пока этот свет достигал сетчатки его глаза, – одно лицо.

Будучи ко времени начала повествования от роду лет пятидесятити, на этом лице он решил отпустить бороду, не по примеру людей того же возраста и своего круга, а оттого, что в свои годы занимал положение, в котором качество стрижки и бритья представлялось несущественным. Квартирная его хозяйка Валя, очевидно испытывая по этому поводу некоторую квартирную обеспокоенность, поинтересовалась, почему это он не бреется. А вы, спросил Кантонист за неименеем гербовой. Потому, что не растет, расмеявшись от неожиданности, сказала Валя. А я – потому что растет, отрезал он.

Оба допустили бестактность, сгладив неравенство жизненного опыта там, где равны перед лицом абсурдной нелепости. Кантонист подумал, улыбаясь, что некоторая напряженная отстраненность, с которой она его неосторожно разглядывала, должна порождаться подспудным отчуждением мужского начала, пытающегося захватить предназначенное ребенку. Что бы он ни делал, ни говорил, с этой бородой

все выглядело подозрительно, как пьяный вор в музее. Что это у вас, спросил он вдруг о чашке, стоявшей на телевизоре. Чай, из бывших, сказала Валя. Из бывших, из бывших, сказал Кантонист. Мы все тут, чай, из бывших. Вы ведь, небось, тоже. Да, сказала Валя, а вы из каких бывших, из тех, или из этих. По прадедушке, сказал Кантонист, все мы кантонисты. Жалко, что вы кантонист, Миша, сказала Валя. Мне говорили, вы философ. Ну да, сказал Кантонист. Жалко, ласково повторила хозяйка. Я их, философов, никогда не видела.

Ну и славно, решил Кантонист, глядя в ее милое, отрытое лицо, мысленно подставляя ему свое. Это еще далеко не повод для незнакомства. На свете такая прорва людей, что бросаться друг другом – чистое преступление.

ИОНЕСКО И ФЕОДАСИЙ

Однажды Ионеско пришёл к Феодасию, и говорит: здравствуй, Феодасий. Ты жив ещё, старая калоша?

Феодасий услышал эти слова, пожевал губами и помолчал.

Он жил вдвоём – он и его внутренняя жизнь. Но об этом мало кто, кроме него, догадывался. Внутреннюю жизнь Феодасия составляли всякие разные вещи, поезда, деревья, облака, чувства, которые Феодасий испытывал, мысли, которые он думал, вообще – всё, что не было самим Феодасием, а было его внутренней жизнью. Сам же Феодасий за глаза почитался в Сандулянах тайноведом, толкователем и чудотворцем. Поэтому к нему часто приходили за помощью, или просто так, на всякий случай.

Конечно, любой, кому вздумалось обратиться, а то и прийти к Феодасию, сразу становился частью его внутреннего мира, и тогда Феодасий взирал на него с изумлением: а этот ещё откуда взялся!

Так получилось и на этот раз. Поэтому Феодасий сперва помолчал, а потом сразу спросил Ионеско, – а ты кто такой, не Ионеско ли, часом, будешь.

Трудно сказать, ответил Ионеско. Иногда мне кажется, что я – большая-большая птица, и лечу высоко под облаками, и всё мне оттуда видно. А бывает, что я маленький Ионеско, и ничего, кроме этого Ионеско, не вижу. А иногда, – и тут Ионеско сделал большие, страшные глаза, – иногда и того не видно.

Кого, спросил Феодасий.

Ну, этого..., сказал тогда Ионеско маленьким голосом.

А что видно, хмуро спросил Феодасий.

Вообще ничего не видно, сказал Ионеско с изумлением. Как будто его вообще нет – смотри, не смотри. Ничего не видать. Даже темноты, и то не видать. Даже не видно, что не видно темноты.

Хм, сказал Феодасий. Может, тебе, на самом деле, хорошо видно, а ты думаешь, что не видно. Но тогда это очень странно. Потому, что все в Сандулянах знают, что хоть чего-нибудь им да видно. Хотя, может, ничего и не видят, даже собственной темноты. Что же ты, Ионеско, получается, не такой как

Ионеско и Федосий

все? Или ты, может быть, даже и не Ионеско вовсе?

Эти слова показались Ионеско очень необычными. Даже не просто странными, а какими-то совсем необыкновенными. Словно кто-то заговорил вдруг из заброшенного колодца на краю деревни.

Он посмотрел тогда на Феодасия повнимательней, и вдруг увидел, что Феодасий – вовсе не Феодасий, а огромная чёрная птица с толстым, серым, изжёванным клювом, и давным-давно сидит, хмуро потупившись и ворочая тяжёлым крылом, как будто ей в этом крыле тесно. И молчит.

Кто же я тогда, если не Ионеско, тихо спросил Ионеско у птицы, вернее, у Феодасия.

Мало ли кто, ответил Феодасий. Даже не ответил – а просто так сказал. Кто бы ты ни был, хочешь, напою тебя чаем?

Нет, сказал Ионеско, чай мы пьём, только когда болеем.

Ну, прощай тогда, сказал Феодасий, словно и не прощался. Не болей.

Хорошо, не буду, ответил Ионеско.

И Феодасий проводил его взглядом до самого угла, из-за которого вываливалась старая, толстая районная дорога. А Ионеско шёл по ней долго, пока не стемнело, и ему от этого было тепло, радостно и очень обыкновенно.

МЭРИУЦА И ЮЛИАН

Было время, Флореску служил в архитектурных войсках. Его прямой начальник, майор Иванищенко, как раз подхватил синдром Туретта – болезнь, понуждающую человека сквернословить на людях без всякой на то видимой причины. Конечно, ветер носит, но в архитектурных войсках то лаяли, то ветер. Поэтому Флореску вернулся в Сороки без выходного пособия и женился на Мэриуце Думбравэ, которая была, как яблоневый сад в майскую грозу.

Она родилась на морозном, безжалостном мартовском ветру и через пятнадцать с половиной лет не оставила Юлиану Флореску никакого выбора. Тот был черноус, лишён выходного пособия и чувства юмора и обдавал незнакомым ей дотоле обаянием серьёзного человека ниоткуда. За это Мэриуца Думбравэ наказала его смертельной своей красотой, которая более походила на судьбу, нежели случайная пуля, тридцать лет назад влетевшая в профсоюзное окно и угодившая в лекторский графин, поставленный перед её дедушкой работником гардероба.

На деле, Флореску усы свои красил басмой, а чувство юмора у него было такое, что сам он своим шуткам никогда не улыбался, следовательно, и не шутил.

Говорят, у мудреца нет судьбы, но обычному человеку она даётся с именем. Так получилось, что Юлиан Флореску пророс и расцвёл на Мэриуце Думбравэ в полном соответствии с родовыми именами, доставшимися им по наследству. Если фамилия Думбравэ, по-молдавски, означает «лесная поляна», то Флореску происходил от слова «цветок», тут уж ничего не попишешь.

Всё это случилось так давно, что архитектурные войска с тех пор успели дважды переименовать, и теперь они назывались опорно-пропускными, а мелкую дорогу до Фалешт с лёгкостью оперного баса покрыл мягкий надтреснутый асфальт, которым Флореску пришёл к Иону Плэчинтэ и сказал, прямо глядя в масляные его глаза: выдь, поговорить надо. О чём, скучно спросил Плэчинтэ, постукивая по косяку открытой ладонью. Знаешь, сказал Юлиан и поглядел в сторону.

К середине года, одного из тех отрезов, которым суждено уйти в законченность костюма, Юлиана Флореску освободи-

ли. Ему только-только исполнилось пятьдесят два, выглядел он на шестьдесят пять, на левой его плюсне было выколото «устали», а на правой – «они». Обе были просунуты в тапочки, и Юлиан стоял на московской коммунальной кухне, глядя в распахнутое окно на лето этого года, на детскую площадку, на несколько припаркованных во дворе колымаг и на свою тётю Катинку, пока та не прошла в подъезд с авоськой. Он подумал, что вся его неумелая, дырявая, скомканная жизнь превратилась в такую же авоську, старую, на авось, всю в луковой шелухе и прорехах, куда может выва литься то бутылка вина, то картофелина, и засмеялся от горя.

Ближе к осени он был уже в Кишинёве, доехал оттуда до Сандулян на районном пазике и спросил у первого встречного дорогу к мошу Феодасию. Какой тебе мошу[1], сказал тот, сам ты мош, на все стороны хорош. После этого встречный плюнул под себя, шаркнул, пересёк, не спеша, улицу и сказал Юлиану: иди за мной.

У Феодасия не было судьбы. Даже отец не знал, что означает его мудрёное имя. По обыкновению, он сидел под толстым, изрезанным слоновьими морщинами сливовым деревом на табурете и неодобрительно поглядывал в пятый том Ивана Сигаева (об одесском морском пароходстве), раскрытый на пятьсот седьмой странице. Табурет был собран прадедом при посредстве шпона, и прадед, которого тоже звали Феодасием, посвятил тогда свою работу правнуку, смёл стружку, отнёс молоток и остатки шпона в конюшню, оделся во всё белое и велел сыну не хоронить тело на сельском кладбище, а сжечь на вишнёвых дровах и пустить пепел вверх по Днестру. Вверх, а не вниз, повторил он сыну. Запомнил? Да, отец, ответил тот.

Наш Феодасий родился только через полгода. Говорят, ещё через месяц он вошёл в горницу, где обедала родня, обвёл окаменевших едоков внимательным взглядом и вежливо поздоровался.

Юлиан появился у него во дворе вместе со своим прово-

---

[1] Мошу, мош – дедушка, дед (молд.)

BALTi
Марицуа и Юлиан

дником, который сказал Феодасию, сидящему под деревом, ты жив ещё, старая калоша? Феодасий пожевал губами, помолчал, потом, глядя на Флореску, спросил: а ты, случаем, не Юлиан будешь? Юлиан, отозвался Флореску. Мэриуца твоя где, спросил Феодасий. Умерла, отвечал Флореску глухо.

Они помолчали минут двадцать, слушая, как кучевые облака со свистом уходят на северо-запад. Ушёл и проводник, насвистывая песню Дмитрия Шостаковича «О встречном». Тогда Флореску упал на колени, а Феодасий сразу сказал резко: встань, Флореску, слышишь? поднимись!

И Юлиан встал.

Теперь они оба стояли в рост, и Юлиан смотрел на Феодасия, как машинист в туннель, но почему-то ничего там не видел, кроме совершенно голого майора Иванищенко, лежавшего далеко-далеко на шпалах и в голос молившего о пощаде. Юлиан машинально прибавил, потом резко сбросил, затормозил, но майор Иванищенко приближался всё быстрее. Тогда Юлиан рванул то, что показалось ему стоп-краном, и его понесло тормозным путём, что-то лопнуло, посыпались искры, пространство накренилось и принялось со скрипом скручиваться в газетный кулёк, куда сразу насыпались семечки, потом что-то вроде рельса со свиным визгом рухнуло Юлиану на плечо, на мгновение мелькнуло материнское лицо, и вспыхнул свет, такой отчётливый, какой могут видеть только слепые, и кто-то произнёс где-то совсем рядом и как-то совсем спокойно: ну, вот и всё, Юлик, и это был голос Мэриуцы Думбравэ.

Ну, вот и всё, Юлиан Флореску, сказал Феодасий, поднял табурет и поставил на одну ножку. Извини, если что. Езжай в Бельцы, зайди на Хотинскую шесть, там тебя заждались.

УРСУЛЯНУ И ОКНО

Начать с того, что Урсуляну увидел, что спал с отрытым окном. Он постоял у окна, выкурил три или четыре сигареты без фильтра, а потом пришёл человек и молча починил телефон. После этого Урсуляну выкурил ещё три сигареты, и телефон зазвонил. Урсуляну поднял трубку. Откройте окно, сказал телефон маленьким голосом. Я уже открыл, сказал Урсуляну. В трубке помолчали, пошуршали, и какая-то женщина, похоже, оторвавшись от бумаг, спросила, открыто ли окно. Вы уже открыли окно или нет. А вы, спросил Урсуляну. Что, спросила женщина. Да я так, сказал Урсуляну. Что «да», спросила женщина. Открыл, ответил Урсуляну. Я не поняла, с ударением на первом слоге спросила женщина, вас плохо слышно. Что-то вы сделали, не пойму. Я говорю, я уже открыл, произнёс Урсуляну без выражения. Господи, сказала женщина как бы в сторону, где они берут этих абонентов. Ему ясно говорят: открой окно, открой окно. Вы что, глухой? Чего вы кричите? Я не кричу, сказал Урсуляну. Ну, вот и не надо кричать, сказала женщина. Пойдите прямо сейчас и откройте окно. Не пойду, сказал Урсуляну. Как не пойдёте, изумилась женщина. Ну, знаете. Я ему говорю, открой окно, а он не идёт. Откуда они берутся на нашу голову. Идите и откройте окно. Хорошо, сказал Урсуляну и помолчал. Вы открыли окно, строго спросила женщина. Да, открыл, ответил Урсуляну. Слава Богу, сказала женщина. Слава Богу. Можете теперь считать, что легко отделались. Можете жить спокойно.

Урсуляну повесил трубку и выкурил ещё две сигареты, одну с фильтром. После этого в дверь постучали, и на пороге появился молодой человек в летней форме курсанта сельскохозяйственной академии. Он прошёл прямо в комнату, заглянул под тумбочку, оглянулся и сказал тихо: знаете, что? Что, спросил Урсуляну ещё тише. С этим народом не пропадёшь, сказал курсант. Да, с ним не очень-то, согласился Урсуляну. Мой дед служил при Котовском, сказал курсант, у него была именная сабля. Он из-за этой сабли ссорился с бабушкой, когда им с бабушкой было уже лет двести пятьдесят на двоих. Взял и порубил в щепу платяной шкаф. В мелкую, можно сказать, пыль. Никому не говорите, ладно? Я-то что, возразил Урсуляну. Не разносите, хмуро сказал курсант. Бабушка ему

говорит: какой ты молодец, Сенечка. Мне так не нравился этот шкаф. Если откровенно, я этот шкаф терпеть не могла. Он достался мне от одного поляка, так этот поляк был такой бабник, такой куртизан, всё пропил, кроме этого шкафа. Так и прожёг свою жизнь, прости Господи. Теперь всё по-другому. Спасибо тебе, говорит, мой милый. Теперь этого шкафа уже не будет. Теперь он уже не будет нам тут мозолить глаза. Вот так. Потом они года два с половиной сидели на полу, обнявшись, и плакали. Вы тут что, окно открыли? Да, в общем, сказал Урсуляну. Понимаю, сказал курсант. Мне пора. Если позвонят, скажите, была проверка. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сказал Урсуляну, выкурил ещё три сигареты и в десять шестнадцать телефон опять позвонил, но Урсуляну трубку не взял. Он даже хотел поднять трубку и сказать: никого нет дома. Но не стал. Вы, мол, там звоните. Почаще, что ли, набирайте, всё образуется. Обязательно поднимут, рано или поздно. Только не вешайте носа. Всё станет на свои места, вот увидите, иногда такое часто бывает. Или просто так заходите, так всем и передайте, только не забудьте.

Урсуляну закрыл окно на задвижку и прилёг. А когда проснулся, окно было открыто, и он подошёл и выглянул на улицу. Но там было так тихо, что никого не было.

ИОНЕСКО И БРАНДУЛЕСКУ

Ионеско жил один. Но он был такой маленький, что его всё равно было почти не видно. Однажды он пришёл к Брандулеску, а тот его почти не заметил. Но Ионеско не обиделся. Он только сказал: здравствуй, Брандулеску, как хорошо, что ты жив ещё. Такой старый хрен, а ничего тебя не берёт. Так и знай: смерти наш мир предпосылен. Тут уж ничего не попишешь.

Брандулеску очень удивился, услышав такие слова, и говорит: это кто там такой, я что-то не разгляжу.

А Ионеско ему: это же я, Ионеско. Меня почти не видно, потому что я очень маленький Ионеско, другого поблизости нет. Только я один. Да толку что: большой-маленький, один-неодин. Жизнь идёт своим часом, а смерть всё равно получается лучше всего.

А, сказал тогда Брандулеску, ну садись, друг сюда. И показал ему на стул. Вот тебе стакан вин де масэ, вот зелёный лучок. Выпьем на заходе солнышка за всё хорошее, что не унесёшь с собой. А если унесёшь, то всё равно останется.

Останется-неостанется, нам уже всё равно, заметил тогда Ионеско. Потому что мы с тобой такие старые два хрыча, что всё равно скоро помрём, и нас больше не будет. Какая-нибудь хворь нас всё равно доконает. Может быть, даже до нового года.

Ну что ж, сказал Брандулеску, которого, на самом деле, звали Сандуляну. Мы помрём, зато дети наши останутся. А потом и внуки, и правнуки подрастут. Все они тут будут сидеть на стуле.

Да, это верно, согласился Ионеско, которого, по правде говоря, всегда звали Ионеску. Только ведь и они помрут когда-нибудь. Кто раньше, кто позже. Каждого какая-никакая хворь да сломает. Даже праправнуки, и те умрут. Если, конечно, родятся. А если и родятся, то, скорее всего, какими-нибудь нездоровыми и совсем мало протянут. Или не очень умными. Мир полон умных недоумков, Брандулеску.

Это очень печально, сказал Брандулеску и с умным видом выпил, а потом закусил зелёным лучком, пару раз тыкнув им в солонку. Очень-очень печально. Поэтому давай выпьем, чтобы они были хотя бы счастливы. Потому что всё равно

Домеко и Бранду

когда-нибудь это счастье закончится, так пусть оно у них хоть побудет какое-то время. Хоть пару деньков.

Да, сказал Ионеско, всегда что-нибудь заканчивается. Не одно, так другое. Какой-нибудь общий случай, недомогание – и нет его. Глядишь, вот оно, сидит, а завтра его уже совсем нет. Даже бывает, что и до вечера не дотягивает. Только-только пообедало, а к ужину уже и следов не найти. Ищут его, кричат, стемнело уже, а всё напрасно. Как будто и не было.

Тогда Брандулеску сказал: а давай выпьем, пока светло, за то, что есть сегодня. Вот хотя бы за эту лозу виноградную. Или за солнышко.

Давай, согласился Ионеско и даже кивнул. Всё равно ничего этого послезавтра не будет. Или даже завтра. Что-нибудь с ними да случится не то. А выпить можно уже сегодня. Скажи, это правда, что тебя зовут Сандуляну?

Да, правда, сказал Брандулеску, закусывая. И отца моего зовут Сандуляну, и деда. И прадеда тоже.

Так у тебя что, и прадед есть в Сандулянах, подозрительно спросил Ионеско.

Конечно, есть, сказал Брандулеску и чихнул.

Вот видишь, рассудительно заметил Ионеско, прадед у тебя есть, а ты уже чихаешь. А там, глядишь, и помрёшь. Разве это не печально?

Это очень-очень грустно, согласился Брандулеску и опять чихнул.

Что ты так расчихался, крикнул ему в сердцах Ионеско. Мне уже пора идти, а ты всё чихаешь. Смотреть стыдно.

Да, да, сказал Брандулеску. Это очень стыдно.

Тут Ионеско вскочил со стула, мрачный, как туча, и пошёл домой. А Брандулеску сидел и чихал. Наверно, от лука. А там и дождь пошёл. Такие реки полились, что только гляди.

Брандулеску только глядел и молча слушал дождь, и ему казалось, что дождь этот потихоньку перерастает себя в шум каких-то давних голосов, просроченных и пустых. И вдруг ему сделалось даже не грустно, а как-то напрасно. Он всматривался в потоки дождя внимательно и серьёзно, как если бы склонился над ними, по-стариковскому обыкновению забывчиво ушедшими в себя. А потом даже не подумал, а что-то почувствовал о своей жене Аурике и заплакал, тихо, как кот.

БРАНДУЛЕСКУ И БУЛЬДОЗЕР

В Сандулянах было такое будущее, что им отапливали сараи. Незнакомые ходоки, случайные люди, одолжившись и скинувшись, отправлялись сюда пешком, а потом восвояси, кто с невестой, кто с карманом, набитым тыквенными семечками, налегке, прямо с рыночной площади.

Там же, на площади, возвышался памятник, предположительно, апостолу Петру, некогда посетившему это место. Строго говоря, вовсе не памятник, а древняя каменная колонна, очертаниями напоминавшая человеческую фигуру, простирающую руки горé. По преданию, апостол, изъясняясь на бессарабском, обратил здесь язычников, а памятник ему поставили столетием позже, отстраиваясь вокруг. Вера его отличалась от той, что нашла своё выражение в епархии, и церковь её не приняла, посчитав, в частности, магией и колдовством, а в целом – отступничеством и кощунством.

Окрестные иерархи изводили Сандуляны анафемой, и однажды, ближе к вечеру, Брандулеску, обрезая лозу, услышал, как чокаются бутылки в погребе. Земля покачнулась у него под ногами, раздался такой грохот, словно упала крыша, и глазам его предстало нечто немыслимое. Рыночной площадью по направлению к Петру шёл громадный гусеничный бульдозер песочного цвета и, не успел Брандулеску присесть от неожиданности, затмил всё вокруг. Был синий час, в этих местах предварявший сумерки, бульдозер достигал самых ранних звёзд и был уже шагах в десяти от Петра, когда грохот вдруг надтреснулся, ухнул разом, в машине что-то хрустнуло и вся она, решительно качнувшись, замерла, так что сразу стало слышно, как чиркают о хрустальный свод вечерние стрижи над речкой. Брандулеску показалось, что он сошёл с ума и умер и что сам апостол Пётр сейчас подойдёт к нему, чтобы положить руку на плечо, побрякивая густою связкой своих ключей. Ибо, как все бесстрашные люди, Брандулеску сначала умер, потом зажмурил внутренние свои глаза и только тогда принялся за дело. Подошёл к бульдозеру, поднялся по лесенке на самый верх, заглянул в кабину, огляделся, присвистнул и вдумчиво почесал в затылке.

Назавтра бригаде слесарей из районной МТС не удалось сдвинуть бульдозер с места. Ничего не изменилось и на дру-

HOTEL
CAFE

гой день, и тогда один из слесарей сказал другому, помоложе: стоп машина.

Модель Caterpillar D9 ранее использовалась Пентагоном для расчистки минных полей и теперь стояла перед Петром, подобно видавшему виды паломнику, пришедшему оттуда, куда не возвращаются с опытом. История эта позже явилась причиной домыслов и слухов, а иногда и самого бесстыдного вранья, и очень скоро переросла в неподвластную кесарю и архимандриту символику народного ковра, который можно разглядывать сколь угодно долго или не замечать вообще. Поэтому старостой запрещено было разбирать её на металлолом, количество ходоков утроилось, а сами ходоки преобразились в старцев и богомольцев, за глаза располагавших Сандуляны где-то на «та́мошках». Ко всем этим самостям, зарядили такие дожди, что вернее было бы назвать их сезоном, и дождей через пять явился долговязый человек неопределённого возраста в ослепительно-жёлтом комбинезоне. Он вышагнул из сельского уазика длинной ногой в армейском, кирпичной кожи, ботинке, высморкался в платок, посмотрел на небо, потом на бульдозер, наполовину ушедший в плодородную бессарабскую землю и, судя по выражению лица, произнёс какую-то глупость. В гусеничных траках росли мята и молодой подорожник, а бронированная кабина скрылась в побегах дикой лозы бакона, стелющейся розы и плюща.

Страны, как люди, выражены в том, в чём они провинциальны. Без столиц мы оставались бы наедине с собой. Кто таков этот Макмагон, спросил поэтому староста Подоляну, набрав номер. Похоже, это человек, которого так зовут, отвечали ему в Кишинёве.

Приезжий поселился в местной гостинице об одной звезде и в качестве соседа дважды приглашён был на поминки, трижды побывал на свадьбе (где выяснилось, что он – американский специалист по запутанным состояниям), однажды – у Феодасия, и потом пропал в своих ботинках так же бесследно, как появился. Ещё через год Caterpillar D9 окончательно ушёл под землю, откуда торчал разве что ржавый отросток его выхлопной трубы. В него местными девушками помещались на счастье то цветок дикой розы, то гроздь сирени, а их кумо-

вьями и сватами выливался полный стакан молодого вина. Много позже, когда пропала и труба, инженер был случайно опознан сезонными работниками под стенами Орхейского монастыря. Борода его была туго заправлена в брючный ремень, и на все вопросы он отвечал ясным, как осенний орешник, взглядом странствующего иностранного специалиста. Иностранцы, как известно, глухи.

Всё это случилось давным-давно, когда гитарные колки подтягивались при помощи столовой вилки, и, по определению св. Силуана Афонского, «то, что написано со Святым Духом, могло быть прочитано только со Святым Духом». Но по-прежнему в Сандулянах вырастали такие сливы, что их трудно было не заметить, даже если зайти с другой стороны.

История о бульдозере и Брандулеску считалась не ложью, а выдумкой и, возможно, потому её с серьёзным видом дослушивали до конца. Нам к этому добавить почти совсем нечего. После того, как памятник апостолу Петру взорвали чужие люди, на его месте пустует трёхзвёздочная гостиница, в фундамент которой заложен американский бульдозер Caterpillar D9. В конечном счёте, единственная сто́ящая проблема человека и мироздания – что делать с собой. Или в своём присутствии.

ИЛЯНА И САНДУ

Иляна жила в деревне, названия которой почти не помнила. Мало ли деревень, где женщины моют длинный пол, подоткнув подол в преддверии нового дня. Деревня была обычной, как воспоминания, которым любая погода впору, и где всё происходит заново, если о нём серьёзно подумать. Стоило Иляне углубиться в свои размышления, как мысли принимали форму солнечных пятен на самом дне окраинного хвойника, а потом складывались в тягучие, незнакомые, значительные слова, или вытягивались в гулкую, тонкостенную музыку, которой душа уходила прямо в небо, и тогда сами собой наворачивались слёзы. Такие у Иляны были мысли. Поэтому она решила, что совсем не умеет думать по-настоящему.

Была в этих мыслях серьёзная тайна, доверенная Иляне с тем, чтобы она могла разделить её на два, когда желание открыть её станет любовью. Иляна хранила тайну до поры в груди, под сердцем, изредка доставая, чтобы полюбоваться, и её в тот момент хватало на всех. Даже на плотника Феофана, который часто ходил возле её двора пьяным, а однажды взял за голову соседскую кошку Маню, ударил оземь и оставил у калитки мёртвой. Тогда Иляна вынесла ему свою тайну во сне, осторожно держа в ладонях, чтобы спасти его, и он поначалу молчал, качая курчавой головой, стеснительно удивляясь и делая глаза, а потом сказал: ну вот, ты считаешь в первую очередь, а я в свою. После этого соседи завели другую кошку, которая оборачивалась на другую кличку, а Феофан из деревни уехал и больше не приходил. Но Иляна всё равно жалела и Маню и Феофана, и как-то раз тихо заплакала во сне, увидев его мёртвым в незнакомом городе.

Однажды в деревне открылся такой свет, какой могут видеть только слепые, забравшись по своей улыбке на самый верх. Дома и деревья перестали отбрасывать тени, а тучи легли так низко, что беременная собака Савка вышла из своего сарая и запела, а некоторые прохожие, сами того не заметив, перешли улицу вниз головами.

Всё это было так давно, что дорога в Турцию проходила через Черновцы. Школьный учитель физики Ион Санду, выглянув в окно, увидел липовую аллею, осунувшуюся на свету, как полустанок, измождённый проходящими поездами.

BERE

Преподаватель обул кремовые ботинки, надел зелёный пиджак, вышел из дома, сунул карапузу, считавшему голубей у фонтана, шоколадку и пропал в сомнительного вида малолитражке. Так, сказала пожилая прохожая, свидетельствуя происшедшее. Ну да, ответила ей подруга. Встретите ребёнка, – пошарьте в пиджаке, нет ли с собой конфетки или рубля, если найдёте – отдайте. Вдруг этот ребёнок ваш, а вы не знаете.

Иляна сидела на веранде за швейной машинкой и поглядывала во двор, заставленный светом, когда в ворота постучали, и выпрямилась на этот стук, глядя в опорную световую точку, менявшую очертания на стене.

Это я, трагически крикнули за воротами и замолчали. А это – я, подумала Иляна, но ответить не успела. Калитка распахнулась, и во дворе появился долговязый молодой человек без штанов, в кремовых ботинках и огуречного цвета пиджаке. Простите, грустно сказал молодой человек. Не подскажете, какая это деревня.

Как будто деревни бывают разные.

Сандуляны, ответила Иляна, чтоб не рассмеяться.

Да, удивился молодой человек, в самом деле, меня зовут Санду. А вы – Иляна, правда? Правда, сказала Иляна. А это – ваши штаны. Я как раз заканчиваю обмётывать оверлоком внутренний шов. Вас не смутит, если я поработаю над ним ещё две минуты? Конечно, не смутит, сказал Санду. Тем более, вы так мастерски работаете оверлоком. Ещё бы, сказала Иляна, мама всегда обмётывала такие швы вручную. Для папы. Теперь времена изменились. Раньше за такие вещи могли и срок схлопотать. Это верно, согласился Санду. Теперь совсем другие времена. Выходи за меня замуж. Выйду, сказала Иляна. Только вот закончу шов. Ещё минутку потерпи, ладно? Хорошо, сказал Санду. Минутку я ещё могу потерпеть.

И он терпел ещё минуту, и потом ещё год, пока Иляна закончила со швом и открыла ему свою тайну.

Но это уже совсем другая бессарабская марка.

ПЕТРОВ И ГРИГОРЯНУ

На Казанском вокзале Григоряну послышалось что-то вроде: Россия – для наших. Григоряну обернулся и увидел дождь, а там – маленького человека с узким лицом, похожим на пустой портфель. Человек стоял на скамейке, гружёной освещённым дождём, пахло мокрым дымом. Григоряну, ослеплённый поездом, обратил ему приветственный жест. Или просто махнул рукой, вспомнив из Теннисона: мы, англичане, в сущности, кельты, саксонцы и датчане. Или из Борхеса, который почитал себя прежде всего баском, потом испанцем, португальцем, англичанином и евреем, поскольку его роду принадлежали Асеведо и Пинейро – старинные еврейско-португальские фамилии Буэнос-Айреса. Возможно, Россия – не для англичан и не для Борхеса. И не для него, Григоряну: так уж вышло, что мама во времена послевоенной сепии, почти всегда на расстоянии расставания любила прощёного вора из кантонистов. А, может, не любила, может, тогда это называлось иначе. Может, жить без него не могла.

Поезд назначен был на час шестнадцать с минутами, парочку из которых так удобно держать про запас. Перроном подходил, присвистывая, милицейский чин Петров с приветом от голубя на левом боку и новенькой кобурой – на правом. Григоряну знал: в кобуре, кроме слипшихся леденцов, разве что носовой платок цвета мелкой клеточки. Он зашёл в ларёк, постоял там, потягивая себя за нос, делая глаза, надув для приличия одно из своих старых лиц, потом быстро прошёл в вагон и уехал в Удельную, где у него была встреча с Феодасием, а у того – с неким Мартемьяном, чьи ангелы за плечами, чёрный и белый, перепутались, и Мартемьян в свои пятьдесят два года оглох на оба уха. А может, и не оглох, просто не мог ничего слышать, такая жизнь.

Там Григоряну за обедом узнал, что домашние Мартемьяна совсем не любят Америку. Это говорилось в простоте, как любят-нелюбят рисовую кашу, терпеть не могут женщин. Конечно, домашние не знали Америки, там не жили, и нелюбовь эта не могла состояться как сильное чувство. Скорее, она была неким позволительным правом, и это было понятно Григоряну, он внутренне соглашался с ними в этом их детском праве на нелюбовь, в котором не было правоты расставания.

По крайней мере, Россию они знали достаточно хорошо, чтобы презирать. И это смущало его в них. Или вообще не смущало, просто Григоряну было неприятно, тут уж не разобраться. Ему даже показалось, что они вообще никого не любят.

Состав ещё только подходил к перрону, но уже было видно, как свищет из тамбуров сахарный антрацит мокрого перегона. Возвращаясь в набитом вагоне, Григоряну всё думал о расставании, о том, что есть в нём своя внутренняя правота, какой нет в разлуке. Расставание – это когда меняешь состав крови, а если не меняешь, тогда ты – перемещенное лицо в разлуке, и говоришь что-то вроде: мне без тебя плохо. В расставании ты ничего не говоришь. Расставание – когда мне без тебя. Поэтому расставание – почти немыслимо. Возможно, – но не у всех.

Еле припомнив осунувшееся лицо оратора-миссионера, он увидел в нём Иона Григоряну, для которого всякая мысль – лишь предисловие к следующей мысли, который говорит так быстро, убеждённо и с таким жаром, как только и можно, по его представлению, метать бисер. Ибо Григоряну – известный забытый писатель, и перу его принадлежат две-три грандиозные заброшенные книги о любви, которые читаются, или не читаются, без любви человеком общего дела, искренней пешкой в чьём-то замысле, далеко опережающем её чаяния. Что будет с этой пешкой, когда аккуратные люди переоденут её идеалы в свои полномочия. Возможно, с ней ничего не будет, и, выйдя на Казанском, Григоряну шагал, не оглядываясь на эти свои мысли и не ища вчерашнего оратора глазами, как старого знакомого из тех, кого принято сверять со своими мыслями. Он только прошёл мимо скамейки, и некая синичка, сидя на её спинке, спросила у Григоряну: почему, почему.

День был полон облаками, какие не часто увидишь в Москве, – смётанными из человечьих душ. Григоряну шёл через Большой Каменный, и каждый из быков был государственней трёх вокзалов, и многие из людей этого моста, возможно, читали его книги, но без любви, горести, наслаждения, расставания и раскаяния, а так, как читают на ночь: чтобы уснуть, чтобы, подумать только, девятьсот страниц, любая раскрывается на однажды, автор скажет: вы прямо читаете мои мысли. А я,

Петров и Григорян

что мне его мысли, меня просто затолкали в шапку. Ты тоже гений, иди, чисти зубы. Где ты видела, чтобы гении чистили зубы. В них отродясь не было зубов. Им ещё в детстве вставили золотые, чтобы было чем оплатить старость. Вот Эйнштейн, где ты видела у него зубы. Они вылетели из него со скоростью... Слушай, перестань болтаться ногами. Помнишь Зину, замужем за доктором Хюбнером, его все зовут Гибнер, сначала заходит Зинаида, потом, по очереди, уши доктора Гибнера, потом и сам доктор Гибнер, весь потирая ушами. Вот он появляется в столовой, маленький, нервный, с огромной саблей, в потомственных ушах. Хватит меня бормотать. Иди, умой уши. Скоро уже рассветёт. Надо идти на работу, растить детей, слышишь, чтить родителей своих, и прилепиться к жене своей, и утро вечера утренее, и ногти на правой растут теперь быстрее, чем на левой, и что ты делаешь, что ты, мне скоро на работу, что ты там говоришь такое, закрой с той стороны. Нету той стороны.

Григоряну вдохнул блеклого московского воздуха и удивился своей непривычке жить по воскресеньям. Оглянувшись, он убедился, что Петрова нигде не видно и зашагал дальше, в направлении Киевского вокзала. А там уже поезд сдвинулся с сытым лязгом, как каретка, и пошла четвёртая копия перегона.

Возможно, это произошло вчера, а может, этого вовсе не было, но оно обязательно случится, или уже не произойдёт, как это часто бывает с тем, чего ещё не было. Если произойдёт, мы обязательно узнаем, что там дальше.

ИЛЯНА И МИХАЙ

Ясным июньским утром отставной цирковой артист Сырбу обратился мыслями к соседке Иляне, чей муж третий год преподавал в казанской командировке.

Если долго о чём-то думать, то его можно полностью выдумать, и от него ничего, кроме выдумки, не остаётся. Так получилось и на этот раз. Сырбу, вздохнув, подошёл к окну, чтобы полюбоваться безымянной архитектуры крепостью северного вокзала, о которых принято говорить, что это бывшие конюшни графа Воронцова.

Всё это было так давно, что откровенность прощали даже доносчикам. Сырбу, при встрече приглаживая рослую шевелюру, всякий раз поздравлял Иляну с годовщиной Трафальгара. И вас также с годовщиной Трафальгарской площади, отвечала она, улыбаясь так, что Сырбу казалось: она улыбалась всегда. Возможно, она умела жить. Не в особом смысле, который вкладывают в эти слова, а просто жить. Не умирать. Просто дышать. Так, по крайней мере, думалось Сырбу.

Со временем стало не то чтобы голодно, а как-то тревожно. По сёлам принялись выбирать народных представителей.

Старая машина всем хороша, пока едет, говорила Иляна Аурике, сидя за столиком в угловом кафе, и Сырбу осторожно, пряча в ней кролика, стаскивал шляпу на грудь и раскланивался перед ними из своего высокого окна напротив.

Никто из троих не голосовал, пусть там и поили красным молодым вином, а рядом с двумя опорожнёнными и полупустая бутыль равна двум полным. В жизни выигрывают не голоса, а симпатии, кричал из окна Сырбу. Кричал, не кричал, его не слышали. Считалось, что Сырбу получал на почте ещё более фанерные, чем в былые времена, посылки, на которых большими фанерными чернилами выведено было что-то вроде «сычуанские гардебардины второго почтового типа», и люди начинали его сторониться, а то и вовсе избегать. Хотя почты в Сандулянах не было, а был только один почтовый ящик.

Но не потому подруги пропустили слова его мимо ушей, а оттого, что глядели друг в друга остро, до головокружения, пока не прорезывались смутные, как уголки губ в темноте, очертания судеб.

CAFE

Иляна едва ли не реже встречалась со своей старой подругой Аурикой, чем та с ней, такой уж у них при встечах был отсутствующий вид. Кафе в Сандулянах – место, где возможны круглые столики (ресторан – где они немыслимы), и подруги сидели за круглым столиком в кафе молча не оттого, что оказывали таким образом знаки невнимания в направлении Сырбу, а потому что все равны, ни слова, ни поступки ничего не значат, даже у полных тёзок разные имена, ничему не повториться, ни лицам, ни словам, ни самим Сандулянам, где отродясь не существовало рядов, и даже между двумя деревьями нельзя протянуть верёвку.

О, как они ошибались. В Сандулянах было два вокзала. За обоими лежал хаос любознательности. Но только за тем, который называли западным, отсутствие честолюбия делало человека неуязвимым, ходили товарняли, начинались поля, а за полями стояло озеро. Ясная его вода, пронизанная солнцем, в счастливую минуту вспоминалось Иляне. Какого ей вдохновения нужно, думала она.

На западный приходили товарняки, а о северном мы почти не будем здесь рассказывать. Мальчик Михай, чья судьба ещё только решалась в мире, где птицы так отдалились от людей, что их имена – последнее, что люди выучивают на чужих языках, подошёл на западном вокзале к товарняку и потрогал его за буфер в тумане в такие летние три утра, когда только и можно думать обо всём сразу, трогая влажный вагонный буфер. Над озером, за железнодорожной дымью возникала и пропадала звёздная сыпь, самостоятельно расписывая беззвучную проблему мальчишьих судеб.

Возможно, мальчик Михай ещё вспомнит обо всём этом западном вокзале, об озере и о созвездиях, и о том, как, внимательно оглядевшись, забрался в вагон и лёг в дальний угол на солому, потому что пришло время. Вагон почти сразу дёрнулся, и Михай почти сразу поехал, и всё вдруг осветилось внутренним светом, и Михай ехал за пазухой в этом свете далёко-далеко, в тот самый Гангарск, в самый месяц Хотябрь, где воздух зелен от древесной пыли, и кашляют по-русски, крепко улыбаясь, так что ничего понять нельзя, кроме гар-гар-гар, и валят старый, надёжный лес отечественной бензопилой марки «Тайга».

В Сандулянах и Бобырях мироздание было вечным, а в Бендыре и Нижнем Усмане – опосредованным. Поэтому сандулянское с бухгалтерским скрипом дублировало любую из своих реальностей, а то и себя целиком, не гнушаясь ни инвариантностью запутанных состояний, ни упорством своих постоянных, ни уникальностью судеб. Это было нетрудно: стечения обстоятельств в сумме равнялись количеству самих обстоятельств, ибо и те и другие существовали всегда, ни одно не было ни произвольным, ни производным, включая то, о чём хотелось бы умолчать. По истечении мироздания, случайно делённого на ноль, появлялось оно в дверях с той или иной степенью вероятности, и обстоятельство это без устали воспроизводилось во всех значениях вероятности, во всём великолепии световых радуг. Неудивительно, что в Сандулянах, где этому повествованию не раз подходить к концу, проживали ту же, всякий раз новую жизнь в неизменном окружении раздавленных шелковичных ягод, краснотала, свирепки и подзабора. Стоило, однако, проехать в Нижний Усман, всё вокруг менялось, отчего невозможно было найти ни улицы, ни дома, ни даже простого понимания того, что написано выше.

Поэтому Михай с лёгким сердцем проснулся на северном вокзале, на самых дальних запасных путях, где отцепили его вагон.

Но так и не понял, что же случилось.

ТАНЦОВЩИЦА ИЗ МАЛАГУРЫ

В день летнего солнцестояния больной закрытого режима Иван Марков, сидя на веранде в спортивном костюме и тапочках, повертел шариковой ручкой вокруг указательного пальца, уронил её, поднял и склонился к столу, над листком писчей бумаги.

Дорогой брат, писал Марков. Всякий кто думает, что не понимает женщин, заблуждается. Он их даже не видит.

Позавчера мой адвокат аргументировала позицию, и я решил со всей искренностью заглянуть ей в душу, но ничего там не увидел, кроме старого доброго железнодорожного состава, уходившего осенним пейзажем в низкую облачность.

За этим, продолжала, между тем, адвокат, конечно, за этим ничего не стоит, разве что тяга к поездам, железнодорожным перегонам. Ясно, подзащитный не мог угнать поезд, но, даже и обнаружив ложно истолкованные намерения, заслуживает минимально-условного наказания. Ибо здесь судят человека условного мира (какого человека, спросила судья), находящегося при слове, не у дел. Подсудимый – цыганский писатель (какой-какой писатель). У него – ни угла, ни профессии, ничего, кроме железной дороги, где вырос.

Растяжимое, брат, стояло лето високосного года, когда, не ведая, едино ли твоему Богу знание о том, жив ты или нет, ничего не знаешь. Писательство – создание общности в уникальном, а не наоборот, – было делом служилым, не нужным и не должным никому, подобно хлебу и сыру где все сыты. Земля, пережившая времена, красиво названные Жоржем Нива крушением классической добродетели, лежала в достатке и простоте.

Подзащитный не совершал предосудительных поступков, разве что противозаконные, сказала прокурор, и адвокат молча кивнула, вглядываясь в сторону широкого бокового окна на древнюю крону платана, разбросанную пястью ободранных своих древес.

Когда мне дали слово, я встал и заявил, что всё, как известно, проходит, пусть разум и устроен таким образом, что ему не понятно конечное. Поэтому в стихотворении всего-то ищешь, что есть в самом первом плаче новорождённого, а в прозе, брат мой, – остаток от деления человека на его смерть.

Сорок лет я живу в пустых складских помещениях, товарных вагонах, на задних путях, собирая этот остаток.

Вышло так, сказал я, что слова я осознал прежде того, что понимают под их значением. Некоторые из них к тому времени успели показать себя негодяями, иные напоминали собственную тень, высокопарность третьих ложилась на язык, наподобие считалки, четвёртые объявляли о своём выходе, пятые были зимними, шестые ходили отторвами и торжествующе сплёвывали через цыкалку в зубе. А всякая «рваная рана» была составом из двух передёргивающихся вагонов. Мир был наполнен ими, гражданин судья. Надменными и толстыми, грустными и надтреснутыми, вертлявыми и неуклюжими. Они держали ритм, обживались вторым темпом и третьим дыханием, напяливали старую шляпу, вышивали на пяльцах и ничего не понимали в навязанных им смыслах, а вернее – в том их тоскливом полуголовном кодексе, которого несчастное должно было придерживаться в повседневной жизни – в работе, на улице, в трамвае и магазине. Смысл загонял своё подневольное слово на самые пятые задворки третьей сигнальной системы где, волоча его за руку, угрюмо разжёвывал очевидное: этого нельзя, а это можно. Такая ситуация у них несколько затянулась, и некоторые истинные, интимные значения тех или иных слов приоткрылись мне уже в довольно зрелом возрасте. К примеру, «пусть расцветает тысяча цветов» обернулось восхитительной изнанкой и понималось теперь не иначе, как «пусть падают сто волос», поскольку Лао Цзы всегда изображался смертельно лысым, как и положено китайскому мудрецу, а цветов повсюду и без него довольно.

Сейчас, будучи старым, наивным и хромым, грозно шамкая, понимаю я, гражданин судья, что человек стареет по мере того, как худеют его слова, как они обнажают миру свой жёсткий каркас, становятся полуслепыми и несгибаемыми, а их кости зарастают чешуёй, гарью, горем, быльём и извёсткой. Однако в то время, когда я подростком шатался по заросшим словами переулкам Сандулян, этим словам не нужен был садовник, хозяин, врач или писатель, литература была им вредна, а истинный творец обязан был, сняв шляпу и рас-

сыпаясь в извинениях, протискиваться между ними в надежде не задеть, не замарать и не испортить. Талантом являлся не писатель, не художник, а весь мир, малую часть которого художник мог с благоговением оболванить, как старуха-мать красавицу вечерним макияжем.

Подсудимый, давайте по существу дела, сказала судья, двинув под собой стулом. Чей плач, какой полууголовный кодекс вы имеете в виду. О какой смерти говорите.

Качество предмета определяет уровень размышления о нём, возразила адвокат, делая мне глаза. Я протестую. Подзащитный – человек проходного двора, творческая личность, – пользуется терминологией, не обязательно опосредованной практикой судопроизводства. Как и все мы, он заслуживает право на неудачу.

Гражданин судья, сказал я. Стоит ли затягивать заседание. Одного старого цыгана в Малагуре под вечер так потянуло ко сну, что сидел он до полуночи, размышляя: ну, лягу спать, а что потом буду делать ночью. Пропади всё пропадом, решил он, наконец, и с тем уснул, глядя на звёзды. Это было опасное решение, гражданин судья. Вот уж триста лет как не найти Малагуру на цыганских картах.

Прошу суд принять во внимание, сказала прокурор в губу. Дело дошло до секретной документации, так называемых цыганских карт, которыми прокуратура не располагает. Что это за документы.

Довольно, сказала судья без выражения и кивнула в сторону секретаря. Прошу записать, что эти слова не являются угрозой.

Я, брат, перенаправен в районный подмосковный пансионат для тихих. Отдалённо это место напоминает мне Киевский вокзал столицы, где у болвана все кругом – идиоты. И всё же, если о человеке больше нечего сказать, о нём здесь говорят, что он способный. Или – что он заразительно смеялся. Но главное, что о нём здесь можно сказать, самое решительное – что он нравится женщинам. И это уже нечем крыть. Ибо нет здесь людей, которые нравятся женщинам. Нельзя любить переселение народов, скорость света в вакууме. Если ты мне скажешь, что были такие люди, и что до самых горь-

Танцовщица из Помпеи

ких, смертных женских слёз их было жалко, когда умирали, что ж, они и нравились женщинам. Им уже не вернуться ни иван андреичами с тринадцатью томами epistolae, ни как-либо иначе освежёванными в памяти, разве только встав из дождя и снега перед троллейбусом, загребаемым возлюбленной их женой, Пенелопой, вскричав ей в стекло лобовое: Люба, вот мы и вернулись к тебе, к троллейбусу твоему, грохочущему, как разваливающаяся поленница. Вот мы перед тобой в самой Садовой голове Кольца, обратились лицом к тебе, заваленной сиренью и солнцем.

Поэтому, дорогой брат, если кто будет говорить тебе, что моя проза обнаруживает в читателе ощущение, что он любит и любим, или же наоборот – что сложна, непонятна, надумана и неопределённа, скажи тому ничтоже сумняшеся, что я, брат, нравился женщинам, и дело с концом. Скажи, что я умер все смерти, бывшие до меня. Скажи, что если ты молчишь, дорогой брат, значит, молчишь ты, тяжело и горестно вздыхая. Скажи им, в конце концов, что в городе жара, на лету истаивают гуси и вертолеты береговой охраны, спят толстые полицонеры с большими накладными карманами, полными наградных жетонов. Всё спит. Спят маленькие усатые адвокаты, выпростав натруженные ногти. Лишь один твой брат не спит, пьет чай с нежными лепестками, сделанными в далеком Китае. И кажется ему усталый и сумеречный Гавриил, и молвит: который это тут покорный слуга не спит? Пьет чай с маленькими лепестками? И отвечает ему слуга покорный: дорога мне эта моя маленькая кружка заварного чаю, горячая и душистая, как танцовщица из Малагуры.

Но Малагуры нет здесь давно, говорит Гавриил, далеко до Малагуры, и танцовщица твоя умерла, и могила её на кладбище в Сандулянах вся в чайных розах и цыганской ломкой сирени. Разве ты не знаешь. Знаю, говорит Марков, но я ведь есть, или же нет меня, скажи мне, архангел Гавриил, разреши мои сомнения. Ты – есть, говорит Гавриил, ты – здесь, какие сомнения. Раз так, говорит ему Марков, есть у меня желание. Зачем тебе желание, резко говорит Гавриил. Не хитри со мной. Не желание это, а марка, метка, рубец на сердце. Да, говорит Марков, не желание, а сердечная метка.

Но ведь не бывает бессарабских марок, ибо в Сандулянах нет почты, а есть только один почтовый ящик. Поэтому я и назвал эту марку желанием. Многое не бывает из того, чего, может, и не будет никогда, говорит Гавриил. Вот я скажу тебе. Я помогу, пусть ты и не в Сандулянах, и тебе туда не вернуться. Но помни: назовут тебя почтовым сумасшедшим, богохульником и самоделом, иные отвернутся, как отворачиваются от изгоя и самозванца, иные перейдут на третью, тыльную сторону улицы, другие, отвернувшись, будут презирать за то, что проиграл, и потому возненавидят тебя, Марков. Есть лишь шаг от страха до презрения, но и его нет от презрения до ненависти к побеждённым и павшим. И тогда заговорят с тобой сурово на таком языке, каждое слово которого вытащит тебя в подворотню, предаст и убьёт. Вместишь ли ты это, Марков, приемлешь ли.

Да, я готов, говорит Марков. Но о каком поражении ты говоришь, нет никаких поражений. Разве только почтальоны и велосипедисты.

Прощай, Марков, только и сказал ему на это Гавриил. Мне пора. С этими словами он пересёк дворик, сел за руль мотоцикла, весь в солнечных заплатах, запустил двигатель, и тот задымил просёлок.

ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ СО ДНЯ СКОРОСТИ СВЕТА

Петря Бруц подошёл к забору, заглянул в щель и увидел птицу. Телескопы высокого качества, сказала птица, изготавливаются следующим образом: в них вставляется донышко от консервной банки со множеством маленьких дырочек, а за ним помещается лампочка. Это позволяет экономить звёзды.

Нашего сантехника вчера разбил магарыч, сказал Бруц.

Заходи, Петрикэ, сказал Феодасий.

Бруц толкнул калитку и прошёл, хотя ворота были отрыты. Они помолчали минут двадцать, слушая, как накрапывает на полдороге в Касауцы.

Было так тихо, что староста Никэ Подоляну, проезжая той же улицей в направлении сельсовета, озаботился приступом лёгкой тошноты. Стало слышно, как женщины, неделей ранее узнав о его возвращении из Лондона, остригшие волосы, шептались: вернулся ли с доброй вестью.

Подоляну свернул во двор к Басарабу, заглушил двигатель, далеко высунул голову из кабины и не то сплюнул, не то спросил какую-то малость. Ну, сказал Бруц. Я говорю, как поживаете, сказал Подоляну. Бываем-бываем, время убываем, отвечал Феодасий без улыбки. Собирай людей, Бруц, сказал Подоляну.

Столовались к ночи. Веранда выходила на Днестр, и вечер этот был одним из тех, что всегда присутствуют в человеке в виде ландшафта, заслоняемого событиями. Над домом висела прямая звезда, мимоездом светил уазик, за ним был воздух, лающий на луну, в отдалении шёл поезд, этот союз живых.

Вперегляду накрывали на стол, тесно расставляли стулья, рассаживались, каждый в своём достоинстве ожидания: доблестный Брандулеску, просиявшая Аурика, ахнувшая, как школьное фото, глухой американец, специалист по запутанным состояниям. Рядом с американцем располагался древний грузинский философ Гогени, старый друг художника Ван Гога, писавшего звёзды. Учитель физики Ион Санду со своей женой Иляной, прекрасные, как зайцы, подпрыгнувшие и в удовольствие висящие, лёгкие, как воробьи, шептались («смотрю: он стоит и разговаривает на латыни, как будто он

умеет говорить на латыни...»). Вошёл маленький, на пару минут, Ионеско, такой походкой, как будто весь был собран из кривотолков.

«Односельчане и односельчанки, оттудовцы и отдаленцы», сказал Подоляну, поднимая стакан так бережно, словно пытался на глазок прикинуть длину его ободка, и все обратились к Подоляну лицом, как к городскому ливню.

«Будем прощаться», сказал он и выпил с такой решительностью, что опустевший стакан лопнул прямо на столе, и подбежавшая девочка Ефросинья тут же унесла его в дом.

За столом зашумели: «Говори, староста, что задумал».

«Откуда мне знать, что я задумал», отвечал тот, «не родился ещё в Сандулянах человек, который скажет прямо о том, что и так ясно».

«Нулевой ход, это и так ясно», сказала вдруг девочка Ефросинья. «Тут всегда били котелец. Всё изрыто заброшенными штольнями. Две ведут в монастырь. Одна – нулевой ход. Это все знают».

«Навесь навоз на вес на весь навес. Вот и всё, что нам известно о мире и о себе», сказал философ Гогени.

Ефросинья говорила так, как будто болтала при этом ногами, но за столом зашумели ещё пуще, так что ободранный дворовый платан, веками впитывавший сильные взгляды, часть из них разом вывалил на веранду.

Когда Ефросинья родилась, ей не было и трёх лет. Городок был маленький, а снегу выпало много, и она тогда впервые не просто увидела, а опознала снег и свои следы на нём. Теперь, стоя у стола, она поймала на себе безмятежно-враждебный взгляд младенца и увидела себя взрослой. Стремительное чувство безвозвратности поглотило её. Ефросинья и ребёнок глядели друг на друга сквозь непроходимую толщу, навсегда забытые и преданные друг другом. Она обежала стол с кувшином, наполняя стаканы. Санду с Иляной перешёптывались, сидя у дальнего края. Американец спал, головой в стол. Остальные молча выпили, а когда, наконец, выпил и Подоляну, принялись смотреть на его стакан.

«Надо идти», сказал Подоляну. «Пока темно».

Они пошли, тут было недалеко, налегке, через сомни-

тельное редколесье, прореженное красноватыми крупными звёздами, овражец и железнодорожную насыпь к читательскому вокзалу, которого почти не было, и дальше, туда, где простирались равнины, раскрывавшиеся только в темноте.

Каждый шёл молча, вдумываясь в шаги, пока в последней звезде на краю села не зажёгся свет. Тогда-то Феодасий и сказал: «сегодня – юбилей, тринадцать миллиардов лет со дня скорости света».

Автор брёл за ними, думая о своём. По его пиджаку всегда можно было сказать, как долго тот провисел, отираясь в пристенке малой гостиницы, где, по обыкновению, пахнет довоенной кладкой, влажной извёсткой и ещё чем-то, что автор условно определял для себя «немотивированной, невыводимой идеей». На деле, так пахнет самое дно состоявшейся надёжности с лёгкой примесью сигаретного дыма, бытового доноса, обувного крема (чёрного), застарелой обиды, мелкого предательства. Но автор об этом тогда ещё не знал и всё шарил в карманах своего пиджака в поисках то сигаретной пачки, то неразменного золотого, с горечью и восхищением вспоминая о цыганке Асте: не ищет ли она их, не нашаривает ли, как тот неразменный золотой, зажав который в зубах, навсегда излечиваешься от старости, немощи, гордости и запустения. Как скудны наши знания друг о друге, как богаты мы представлениями о змеином уксусе жизни в целом, как скупо каждый управляет своей узкой силой. Так думал автор, вспоминая о цыганке Асте, стоя на распутьи в не столь отдалённое, пасмурное родство. Не Аста ли машет им рукой, другою пристраивая подзорную свою, непослушную трубу, вглядываясь, по обыкновению, то в цыганскую, ломкую сирень, то в схлопывающееся никуда. Нет, показалось.

Автор провожал их по одному. Первым – Феодасия, за которым, по обыкновению, увязался мальчик Михай, несущий его кисет и трубку. Потом – Брандулеску. За ним – бородатого американца в кирпичного цвета полувоенном ботинке.

Последним, что автор успел углядеть в темноте заброшенной штольни, было лицо Иляны, которая как раз обернулась на звёзды, его осветившие. Когда мы свидимся, будет светлым-светло, кажется, сказала она.

ПОЧТАЛЬОНЫ И ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

На окраине села стоял ящик с надписью: архангелу Гавриилу. Ящик был выкрашен синим и стоял на ножках, врытых, скорее, садовым ножом, чем лопатой.

В глухое время от двух ночи до четырёх утра к нему подъезжал велосипедист и выбирал почту.

SANDULENI
Архангелу Гавриилу

Автор выражает благодарность редакции литературного журнала *Знамя,* где впервые были опубликованы материалы, вошедшие в эту книгу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЕССАРАБСКИЕ МАРКИ

Аурика и Ван Гог 5
Весной мы увидим Соснова 9
Мирча и Марика 12
Валя и Кантонист 16
Ионеско и Феодасий 20
Мэриуца и Юлиан 23
Урсуляну и окно 27
Ионеско и Брандулеску 30
Брандулеску и бульдозер 33
Иляна и Санду 37
Петров и Григоряну 40
Иляна и Михай 44
Танцовщица из Малагуры 48
Тринадцать миллиардов лет со дня скорости света 54
Почтальоны и велосипедисты 58

АВТОРЫ

Олег Вулф. Поэт, прозаик. Родился в 1954 году в Молдавии. С 1976 года – в Москве. Геофизические экспедиции на Урал, Памир, Алтай, Кавказ. С 1990 года – в Нью-Йорке. Главный редактор литературного журнала «Стороны света» (США).

Сергей Самсонов. Художник, книжный график. Родился в 1954 году в Соликамске. С 2000 года постоянно живет и работает в Молдове. Первая премия международной книжной выставки в Бухаресте, 2005.

Oleg Woolf
BESSARABIAN POSTSTAMPS
Pictures, cover, and graphic design by Serge Samsonov

All rights reserved.
© 2010, Oleg Woolf. Short stories.
© 2010, Serge Samsonov. Pictures, graphic and cover design.

No parts of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or copied in any form or by any means – graphic, electronic, or mecanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems – without written permission of the author.

Олег Вулф
БЕССАРАБСКИЕ МАРКИ
Иллюстрации, оформление и обложка Сергея Самсонова

Все права защищены.
© 2010, Олег Вулф. Рассказы.
© 2010, Сергей Самсонов. Иллюстрации, оформление и обложка.

Купить эту и другие книги, опубликованные издательством, а также последние номера журнала "Стороны света" можно в интернете на сайте www.stosvet.net, или через отдел распространения и рекламы журнала, отправив электронное письмо по адресу info@stosvet.net. По этому же адресу можно сделать заказ на макетирование и издание книжной продукции или отослать отзыв.

STOSVET PUBLISHERS
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА "СТОРОНЫ СВЕТА"
Подписано в печать 4.4.2010
Нью-Йорк
США